



К.М.Труевцев

«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Рассуждая о событиях на постсоветском пространстве, трудно избавиться от назойливой мысли, что само понятие «постсоветский» такое же пустое и бессмысленное как «некапиталистический путь развития», «постиндустриальное общество», «Содружество Независимых Государств», «постимпрессионизм», «метафизика», «пост-модернизм».

Если придерживаться традиции, утверждающей, что первое сочинение Аристотеля называлось «Физика», а все остальное не имело названия и посему его нарекли «метафизикой», т. е. тем, что после «Физики», тогда оказывается, что все эти «мета», «це» и «пост» – всего лишь приставки, означающие бессилие человеческого разума дать содержательное определение происходящему. Особенно ярко это бессилие проявляется почему-то в социальной, в том числе, в политической науке.

Впрочем, пустое определение, если оно не просто фиксирует внимание на новом явлении, но и пытается распознать его, может дать толчок развитию позитивной мысли, при условии, конечно, что для такого развития есть стимулы и нет идеологических и полицейско-политических ограничений. Достойным примером может служить книга «Стадии роста» У. Ростоу, где и был впервые использован термин «постиндустриальное общество» и вместе с тем содержались подходы к тому, чтобы содержательно определить его. Вскоре после появления этой работы явно в развитии содержащихся в ней идей произошло становление по крайней мере двух работающих до сих пор теоретических концепций – «технотронного века» З.Бжезинского и «информационного общества» Э.Тоффлера.

В отношении «постсоветского пространства» подобного поступательного теоретического осмысления явно недостает – ни у нас, в этом самом «пространстве», ни на Западе. Хотя аналитические ходы в этом направлении отчетливо просматриваются и некоторые из них представляются достаточно прозрачными.

Возьмем в качестве отправного понятия слово «советский». Оно применялось чуть ли не ко всем сторонам общественной, политической, хозяйственной и духовной жизни, но применительно к политической системе имело достаточную определенность, и эта опре-

деленность, если и казалась кому-то «черным ящиком», предельно обнажилась во всех своих структурно-функциональных связях в ходе разрушения советской системы.

Но в том-то и дело, что советская система подверглась тотальному разрушению, по крайней мере, в плане ликвидации узловой связки «КПСС – советы» и полному демонтажу советов как таковых лишь в четырех из 15 республик бывшего Советского Союза – в России и странах Балтии. И даже при этом следовало бы более досконально изучить, что сохранилось в них из советского наследия как на уровне политической культуры, так и в институциональном плане – и на уровне формально организованных структур, таких как армия, МВД, безопасность, судебная система, прокуратура и т. п., и в неформальных – номенклатуре, политической и экономической элите и пр.

Вторая группа стран – Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия и Таджикистан, прошедшая через серию политических катаклизмов, в результате которых многие советские структуры также подверглись существенной эрозии или разрушению, с одной стороны, не показала, пожалуй, до сих пор устойчивости политических структур, альтернативных советским. а, с другой стороны продемонстрировала любопытную способность ряда институтов советского типа к реанимации в новых условиях. Речь идет, в частности, о таких институтах как институт традиционных советских вождей (Грузия, Азербайджан, отчасти Армения), сильные компартии, паразитирующие на сохраняющейся среди населения ностальгии по КПСС и СССР (Молдавия и отчасти Армения), клановая советская система позднебрежневского толка (Таджикистан, отчасти Азербайджан и Грузия), политические кланы местного и регионального плана, «национальные по форме и советские по содержанию» (повсеместно) и пр.

Наконец, в третьей группе стран – на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Туркмении, где была изначально реализована горбачевская модель «мягкого» авторитарного перехода от советской системы к постсоветской, все структурные и функциональные изменения носили, как правило, лишь относительный, постепенный и частичный характер и до последнего времени происходили главным образом путем реформирования сверху.

Если обратиться к странам Центральной Азии, мы увидим, что с позиций приводящейся здесь типологии подавляющее их большинство относится к третьей группе, и лишь Таджикистан – ко второй. Относительное исключение составляет Киргизия, не случайно обойденная ранее в группировании постсоветских государств. Демократическое движение здесь оказалось – по советско-среднеазиатским меркам – неожиданно сильным, и в ходе первых альтернативных выборов пост президента занял соратник Сахарова, Ельцина, Афанасьева, Попова и Собчака по межрегиональной группе Аскар Ака-

ев, оказавшийся белой вороной среди занявших аналогичные посты в других республиках региона партийных секретарей.

Но системно-политические векторы воздействия в конечном счете оказались сильнее и политической генетики личности Акаева, и первой волны демократического движения. Поскольку политический режим как функциональное выражение политической системы на уровне власти стал постепенно, но неуклонно эволюционировать в сторону «выравнивания» с другими политическими режимами региона. В силу этих обстоятельств Киргизию, формально представляющую собой сочетание элементов первой и третьей группы, фактически вполне можно отнести к третьей, по крайней мере, если говорить об акаевском периоде правления.

Конечно, разница между политическими режимами в Центральной Азии достаточно существенна, и ее стоит разобрать отдельно, но об этом несколько позже. Вместе с тем, с точки зрения механизмов управления, политической организации, господствующей политической культуры, институтов лидерства и элит – все их в конечном счете можно было рассматривать как однотипно авторитарные и при этом относительно или даже достаточно устойчивые. Но тут в дело вмешалась «цветная революция».

Нельзя сказать, что она случилась так уж неожиданно. «Цветную революцию» в Центральной Азии ждали, ее предсказывали, прогнозировали, даже призывали. Не в последнюю очередь западные политики и эксперты, да и наши аналитики тоже.

Тут не обязательно спецзаказ, тут еще и стиль мышления. Ведь не успели остыть воспоминания о марксистской теории революции, а тут еще отчетливые ассоциации с идеями и З.Бжезинского (регион находится в ареале «дуги нестабильности»), и С.Хантингтона (нестабильность на ярко выраженных цивилизационных границах). Но более всего, конечно, порой несколько школярски заученная, а потому методологически упрощенная ленинская концепция «слабого звена». И плюс перекочевавшая в стратегическую аналитику второй половины XX века из идеологем перманентной революции «теория домино».

И вот «цветная революция» произошла. Если исходить из того, что «цветные революции» призваны производить коррекцию постсоветского транзита в сторону ликвидации авторитарных режимов и становления институтов представительной демократии, не покажется ли парадоксальным, что мишенью этой революции стал не самый одиозный в регионе режим Туркменбаши или достаточно жесткий режим И.Каримова в Узбекистане, а наиболее демократичный и прозападный (по центрально-азиатским меркам) режим А.Акаева?

Слабое звено? В известной мере – да. Накопление социально-политических противоречий, системная слабость властных президентских структур, их неспособность, нежелание или боязнь идти на крайние жесткие меры, на применение военной силы против оппози-

ции – все это характеризует те страны, где происходили «цветные революции».

Следует, однако, заметить, что понятие «слабого звена», также как и понятие революции, к которому оно, собственно, изначально приложимо, в принципе описывает явления более глубокого катаклического порядка, чем то, что мы видим в образе «цветных революций».

В марксистской традиции, к примеру, революция трактуется как момент и механизм смены общественно-экономической формации. События 1989–1991 гг. в Восточной Европе и Советском Союзе, которые в первом случае опасливо назывались «бархатными революциями» (хотя то, что произошло в Румынии вряд ли можно назвать подобным образом), а во втором еще более опасливо описывалось как простое противостояние путчу, несомненно имели революционный смысл хотя бы потому, что в их ходе произошел распад и ликвидация одной политической системы (да и экономической тоже), на их месте возник иной политической, экономической и социальный порядок с изменением при этом не только государственного устройства, но и самих государств – крушением старых и появлением новых.

По сравнению со всем этим «цветные революции» сами по себе – лишь мелкие потрясения, буря в стакане воды. Волнения, приводящие лишь к смене режимов и не имеющие, по крайней мере, до сего момента, видимых системных последствий.

В Арабском мире подобные явления нередко назывались «корректирующим движением», «исправительным шагом», а специалисты по Латинской Америке, где таких «революций» было неисчислимое множество, не без основания говорят: при чем тут вообще революция? – в нашем регионе это обычно называется государственным или политическим переворотом.

Впрочем, не все так просто, и революционная ловушка в «цветных революциях», конечно же, есть. Заключается она как раз в том, что механизм «цветных революций», по крайней мере в рамках СНГ, не разрешил ни одной из системных проблем, да и не был по своей сути направлен на такое разрешение. Но сами-то эти проблемы есть, и они таят в себе глубокий взрывной потенциал, а революционная энергия масс, разбуженная «цветными революциями», отнюдь не погасла, а лишь затихла на время, и она будет так или иначе взаимодействовать с этими глубинными проблемами. Другое дело, что системные проблемы разрешаются наиболее успешно не путем революций, а посредством системных реформ, а революционная энергия масс может действовать весьма разнонаправленно, и ее разрушительный потенциал может быть использован самыми различными силами и в различных целях.

Геополитические, региональные, этнополитические, этно-конфессиональные и политико-культурные обстоятельства тут играют

далеко не последнюю роль. Политический транзит в демократическом направлении для стран Восточной Европы и Балтии был в значительной мере облегчен и даже стимулирован включением их в систему НАТО и Евросоюза, сыгравших роль мощнейшего внешнего фактора, своего рода «зонтика», прикрывавшего этот транзит. Таковой, стоит заметить, к тому же происходил в условиях отсутствия какой-либо внешней угрозы. Не в последнюю очередь именно поэтому его и можно считать в отношении большинства этих стран практически состоявшимся на сей день, хотя, конечно, применительно к трем прибалтийским республикам понятие «состоявшейся демократии» нельзя не признать достаточно условным в силу наличия апартеида и культурно-языкового геноцида в отношении русского и русскоязычного населения. Но общее сочетание перечисленных обстоятельств в отношении стран, вошедших после распада СССР в СНГ, равно как и их отдельные компоненты складывались по сравнению со странами Восточной Европы и Балтии совершенно иначе.

«Цветные революции» совершенно очевидно произошли в тех из них, где политико-системные изъяны и структурные натяжения усугубились в ходе политического транзита и где никакие внешние факторы оказались не в состоянии компенсировать эти изъяны и натяжения. А геостратегическая конкуренция мировых и региональных сил лишь стимулировала внутреннюю детонацию.

Грузия обрела черты «несостоявшегося государства» с первых дней своей независимости, причем все попытки внутренней консолидации методом «сильной руки» приводили в ней лишь к усилению инерции распада. Один из признаков «несостоявшегося государства» – перманентные «качели» между несостоятельной демократией и несостоятельным авторитаризмом. В этом отношении Грузия практически повторяла на протяжении своей недолгой постсоветской истории классический путь Нигерии и Афганистана, разве что в убыстренном темпе. Изначальная демократия, быстро переродившаяся в авторитаризм Гамсахурдиа, затем драма с его свержением, состояние «войны всех против всех», затем относительно демократический период правления Шеварднадзе, выступившего поначалу в роли «спасителя нации», быстро деградировавший, однако, в коррумпированный деспотический режим, лишь слегка прикрытый внешними атрибутами демократии. И, наконец, новая демократическая волна, мягкое свержение Шеварднадзе, эйфория «розовой революции», выдвижение на первую роль харизматичного Саакашвили. Что дальше? А дальше, кажется, начинается все та же история, ибо ни одна проблема не решена, разочарование существующим порядком вещей начинает стремительно нарастать.

Ситуация на Украине, которая на первый взгляд может показаться гораздо более благополучной, при более пристальном рассмотрении не так уж далека от грузинской. Несостоятельный утилитаризм, являющийся явным наследием советского периода, а также

результатом нежелания и неумения правящей элиты что-либо существенно менять и пошедшей поэтому, в логике унитаризма, по пути формальной, поверхностной и отчасти насильственной украинизации (при продолжающемся неформальном доминировании русской культуры и языка) именно этими действиями во многом поставил государство на грань распада. Может сегодня показаться парадоксальным, но речь идет о периоде правления Кравчука и Кучмы. Унитаризм вырождался в слабый и коррумпированный президентский авторитаризм, против которого началось массовое брожение и на западе, и на востоке, и в центре страны. Это и есть, если угодно, политико-структурная морфология «оранжевой революции».

Но и это еще не все. Ход «оранжевой революции» (хотя на востоке и юге Украины она была, впрочем, отнюдь не оранжевой, а «бело-голубой») обнажил еще и другую реальность. Если верхушка политического устройства – парламент, президент, исполнительная власть, назначаемые президентом губернаторы – представляет собой «постсоветские» структуры, то областной уровень политического управления и нижние уровни были и остаются советскими в самом прямом смысле этого слова. В отличие, например, от России, областные, районные и прочие советы здесь отнюдь не были ликвидированы и продолжают существовать в своем первоначальном виде. Причем эти структуры, как показал тот же ход событий, значительно прочней и устойчивей, чем верхняя часть политической пирамиды. Но тем самым и линии распада, совпадающие с этно-лингвистическими и этно-культурными границами, глубже и устойчивее, чем конституционно закрепленный, но верхушечный унитаризм. Изменила ли «оранжевая революция» и пришедшая на ее воле новая власть что-либо в этом отношении? Отнюдь. Более того, представляется, что некоторыми своими шагами она продолжает наступать с еще большим упорством на те же грабли.

Если исходить из «теории домино», достаточно логичным было предположить, что следующим после Грузии и Украины объектом «цветной революции» на пространстве СНГ станет Молдавия, тем более, что ряд общих структурных компонентов для такого развития там присутствовал и продолжает присутствовать по сей день. Но им стала Киргизия – страна регионально, этнически, культурно, цивилизационно весьма далекая как от центрально-славянского и прикарпатского, так и кавказского ареалов, лежащая в стороне от цепочки ГУУАМ, а если обратиться к «теории заговоров» и логике «великой шахматной доски», то находящаяся, следует признать, на периферии интересов США, а, тем более, Евросоюза.

Это не значит, что внешний фактор в развитии политических событий в Киргизии никак не присутствовал, а политические технологии развития «цветной революции» никак не использовались. Использовались, что достаточно неплохо показано рядом других авторов. Но для данной статьи наибольший интерес представляют не

столько внешние факторы и политические технологии, сколько внутренние структурные причины и политические механизмы. Они все же во многом являются глубинными и определяющими хотя бы потому, что при их отсутствии никакие внешние факторы и политические технологии не могли бы произвести столь драматического эффекта свержения Аскара Акаева, знаменовавшего собой изменение политического режима и, сколь бы относительными они на первый взгляд ни показались, подвижки в структуре политической системы, в характере политических институтов, в субэтническом балансе и его представительстве на уровне высшей политической власти.

Во всем этом революционный вектор, конечно же, просматривается, что вовсе не отменяет того факта, что и в Киргизии, так же как и во всех других случаях, «цветная революция» по своему характеру и результатам, достигнутым на сегодняшний день, носит слишком верхушечный и относительный в плане системно-политических изменений характер, чтобы расцениваться в качестве полноценной революции. Вместе с тем, так же, как и в тех же других случаях она, вполне вероятно, приоткрыла социально-политический «ящик Пандоры» и потому может стать прелюдией событий гораздо более катаклического свойства.

Но, коль скоро этот революционный вектор все же есть, ему нельзя не уделить внимания. Развитие событий в Кыргызстане происходит в той логике, что революция есть, как правило, результат не отсталости, стагнации или деспотизма, а динамичного развития. По крайней мере, все крупнейшие антифеодалные, антимонархические революции в Европе, все величайшие революции XX века – русская, китайская, иранская и др. – произошли как результат уже состоявшихся всеобъемлющих структурных изменений: экономических, социальных и политических. Как правило, они происходили также на фоне высокой динамики экономического роста, правда, нередко резко обрывавшегося в непосредственно предшествовавшей революции период. Вместе с тем, будучи результатом высокой динамики развития, революции были одновременно всегда порождены диспропорциями, сложившимися в ходе этого развития и невозможностью их устранения иными путями, например, посредством политических и иных реформ.

В какой степени все эти более детализированные характеристики применимы к развитию ситуации в Киргизии?

В социально-экономическом отношении Киргизия была одной из динамично развивающихся республик СНГ. Одной из, но отнюдь не самой динамичной. В центральноазиатском регионе пальма первенства в этом отношении безусловно принадлежит Казахстану, показывающему стабильно высокие темпы экономического роста. Он сопровождался постепенными, но неуклонными структурными изменениями, приводящими и приведшими уже к гораздо более далеко

идущим экономическим и социальным последствиям. По сравнению с другими странами региона, включая и Киргизию, казахстанская динамика демонстрировала также несомненные прогрессивные изменения и в качестве роста.

Однако, если рассматривать динамику и глубину политических изменений акаевского периода, а также изменений социально-политических, т. е. лежащих на стыке политики и социума, то в этом отношении вряд ли какая-либо другая страна региона могла сравниться с Киргизией.

Все, конечно, относительно, но реальная альтернативность парламентских выборов в Киргизии, уровень представительства региональных, групповых, клановых интересов, развитие общественных движений и неправительственных организаций, свобода печати, собраний, демонстраций в начальный период постсоветского развития не имели аналогов в Центральной Азии. И даже позже, когда авторитарное перерождение режима приняло достаточно отчетливый характер, а региональный и межклановый баланс был существенно нарушен в пользу акаевского, родственных и близких ему кланов, альтернативность выборов стала нивелироваться использованием административного ресурса и прямых фальсификаций, уровень развития демократических институтов и свободы волеизъявления в Кыргызстане все равно оставался выше, чем в остальных государствах региона.

Правда, историческая справедливость требует отметить, что всплеск демократического развития в Таджикистане на стыке 80-х и 90-х годов предшествовал по времени демократическому развитию в Киргизии. Однако хорошо известно и то, чем закончился этот короткий всплеск: приходом к власти коалиции демократов и исламистов, в которой последние заняли доминирующие позиции, тотальной гражданской войной, унесшей десятки тысяч жизней и завершившейся тяжелым и не очень устойчивым компромиссом. К тому же последний принял форму авторитарного президентского режима с элементами формальной парламентской демократии, за которой скрывается дозирование представительства региональных и клановых сил, являющееся основой поддержания хрупкого национального баланса. При этом авторитарная пирамида президентской власти опирается в своем основании на местный – региональный и клановый – авторитаризм.

На этом фоне, хотя, впрочем, далеко не только на этом, Киргизия относительно долго, почти десятилетие, выглядела в Центральной Азии настоящим оазисом демократии. И, хотя авторитарные тенденции во второй половине 90-х годов уже начали постепенно нарастать, они представлялись, как было принято выражаться в советское время, «родимыми пятнами» молодой, не совсем еще оперившейся демократии, развивавшейся все же в целом, как казалось зарубежным наблюдателям, в правильном направлении.

Но в этом своем нарастании киргизский авторитаризм, чрезвычайно мягкий по любым другим центральноазиатским меркам, в определенный момент преодолел границы терпимого прежде всего для значительной части, если не большинства политической элиты страны. Фальсификации выборов, изменение конституции в угоду Акаеву ради продления срока его президентских полномочий, репрессии в отношении политических противников и конкурентов – вся эта центральноазиатская политическая обыденность, причем почти всегда принимавшая более мягкие формы, чем в подавляющем большинстве других стран региона, оказалась, однако, совершенно неприемлемой для киргизского политического класса, приученного начальным периодом демократии к другим стандартам. Будучи более четко институционализирована, структурирована и организована, чем в других странах региона, киргизская элита стала в своем большинстве превращаться в контрэлиту, причем к моменту «х» эта политическая оппозиция на уровне элиты представляла собой уже организованное большинство.

Движение политической контрэлиты совпало с нарастающим недовольством населения юга страны засильем северных кланов и явной, причем нарастающей дискриминацией и представительства интересов южан. Соединившись, эти два потока дали взрывной эффект. Юг стал базой «революции тюльпанов», но при помощи большинства политического класса (в том числе и оппозиционных представителей северных кланов) юг двинулся в поход на север, и «цветная революция» в одночасье смела Акаева и его клан.

Политический переворот в Киргизии можно было бы признать столь же мягким как и все другие «цветные революции», если бы не одно тревожное обстоятельство – здесь, в отличие от Грузии и Украины, все же пролилась кровь. И хотя прямой вины за кровопролитие нет на непосредственных организаторах и руководителях переворота, тем не менее на последних все же легла тень этого события – хотя бы потому, что не могли полностью удержать контроль над ходом событий и сохранить их целиком в мирном русле. И это, не исключено, может сыграть роль политического тавра, которое у тех или иных политических сил возникнет соблазна использовать в ходе дальнейших событий.

Несмотря на это, в целом ситуация была удержана в русле политической легальности, процесс пошел в конструктивном и определенно институционально демократическом направлении. Новая власть получила достаточный запас политической легитимности, чтобы можно было более или менее уверенно говорить о стабилизации по крайней мере обстановки (о стабилизации политической системы или даже политического режима утверждать пока все же преждевременно).

Позитивным был и факт объединения в общий тандем Бакиева и Кулова. К чести последнего следует отметить, что он проявил каче-

ства масштабного политика, избежав соблазна конкуренции с большими шансами на выигрыш в президентской гонке, но одновременно и с шансами расколоть на этих выборах страну на северный и южный анклав. В результате этого политического компромисса противоречия между севером и югом существенно сглажены. К тому же недавно мятежный юг получил существенную компенсацию за прежнюю дискриминацию в виде представительства на уровне президентской власти всего государства.

Все это дает почву для оптимизма. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на ряд факторов, явлений и процессов, выявившихся непосредственно перед «тюльпановой революцией», в ее ходе и по ее результатам, которые не могут не добавить к этой доле оптимизма размыслений алармистского порядка.

Во-первых, несмотря на описанные типологические черты политического переворота и его в целом довольно тривиальный для «цветных революций» сценарий, здесь, по внутрикиргизским меркам, произошла далеко не обычная смена власти.

С изменением регионального вектора власти – с приходом к ней южан – создан прецедент, вряд ли имевший аналоги в истории киргизского союума.

Дело в том, что политическая элита Киргизии или, по крайней мере, ее основное ядро исторически всегда формировалось из представителей севера. За этим скрывается генотип политической структуры, характерный для многих мусульманских стран, в особенности арабских и тюркских, где ведущую роль в генезисе политического класса и его структуре играли традиционно (и во многих случаях продолжают играть до сих пор) не земледельцы или, скажем, рыбаки, но и не кочевники, а выходцы из предгорий и горных долин. Они представляли ту часть населения, которая сочетала занятие устойчивым земледелием с полукочевым скотоводством, объединяя таким образом оседлость с относительной мобильностью. Такое сочетание обеспечивало этой страте доминирующее положение в обществе. В данной связи стоит обратить внимание на то, что такой тип формирования элиты, достаточно древний по своему происхождению и механизму, остается до сих пор характерным не только для традиционных, но и для радикально модернизирующихся обществ этого типа: революционные вожди и ведущие активисты национально-освободительных движений и даже левых партий, включая марксистские, во многом выдвигались на протяжении последних десятилетий XX века именно из этой страны.

Массовый вброс в киргизскую элиту представителей традиционно застойного земледельческого юга, очевидно, меняет не только ее традиционно устойчивую конфигурацию и структуру, но и политико-культурное, политико-психологическое наполнение и, если угодно, ее этнотип. О том, что этот процесс происходит, причем довольно интенсивно, свидетельствует (по крайней мере, косвенно) из-

менившееся соотношение сил в парламенте в пользу сторонников Бакиева: парламентское большинство заблокировало обусловленное конституционным процессом и историческим компромиссом между Бакиевым и Куловым расширение полномочий премьер-министра (которым, как известно, является представитель севера Кулов).

Не говоря уже о том, что тем самым подрывается достаточно хрупкая ткань этого компромисса и не просто давшего закрепления баланса сил севера и юга, ползучая динамика политического процесса, происходящего на фоне радикальной смены элит, указывает на потенциальную, но вполне реальную возможность расширения «южной реконкисты». Продолжение экспансии южан чревато далеко идущими последствиями для стабильности, единства и территориальной целостности страны.

Во-вторых, юг – это киргизские ворота в Ферганскую долину – район, грозящий превратиться в бурлящий котел всей Центральной Азии.

Ферганскую долину без преувеличения можно назвать солнечным сплетением центральноазиатского региона. Здесь сходятся границы трех стран – Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Причем они скроены так, что население всех их этносов переплетено по всем сторонам границ. И этот клубок межэтнических, межнациональных и межгосударственных противоречий постоянно пульсирует после распада СССР – в этом районе уже были прецеденты пограничных столкновений между Узбекистаном и Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. А чего стоит, например, минирование узбекской стороной государственной границы, приведшее к случаям подрыва мирных жителей.

Кроме того, не меньшая взрывоопасность заложена и в социальной стороне жизни Ферганской долины, и в характере происходящих в ней демографических процессов. Ферганская долина в течение нескольких десятилетий находится в состоянии постоянного демографического взрыва. Результат – крайняя перенаселенность, застойная массовая безработица, экономическая стагнация, подрыв системы здравоохранения и образования, значительная часть населения находится либо на грани нищеты, либо за этой гранью.

Не случайно именно Ферганская долина является питательной средой распространения крайних исламистских движений, в том числе связанных с «Аль-Каидой» и талибами. Отсюда происходил и здесь начал свою террористическую деятельность Намангани, здесь находятся основные центры Исламского движения Узбекистана, узбекской части «Хизб ут-тахрир аль-ислами» и других радикальных исламистских организаций и групп. Здесь пролегает и один из главных путей наркотрафика.

Этот взрывной потенциал чреват большими потрясениями, способными оказать серьезное воздействие на судьбы всего региона. Частично это было продемонстрировано, когда события на юге Кир-

гизии и последовавшие за ними общенациональные результаты сдвинули социально-политический взрыв в Андижане.

Если попытаться взглянуть на произошедшее в узбекской части ферганского ареала не в конспирологическом ключе, характерном для некоторых заявлений официальной узбекской стороны, а по возможности объективно и взвешенно, все же нельзя не признать прямого влияния самого хода и политического эффекта киргизских событий на ситуацию по другую сторону узбекско-киргизской границы.

Разумеется, такого эффекта могло бы не быть, если всколыхнувшая Киргизию революционная волна не легла бы здесь на подготовленную почву. Иначе говоря, локальный «эффект домино» сыграл свою роль, но сыграл потому, что социально-политический нерв ситуации был натянут до предела. В добавлении к тому, что уже было сказано о внутрисоциальных факторах, объективно подводящих напряженность в Ферганской долине к грани перехода в иное качество, здесь присутствовал и фактор усугубившегося в последние годы межрегионального дисбаланса на уровне власти, регионально-кланового представительства, в отношении центральной власти к населению района в целом. В результате чего жители Ферганской долины стали ощущать себя на положении изгоев, что подготовило спонтанную, стихийную почву взрыва.

Но был, несомненно, и другой фактор, который также вряд ли следует игнорировать.

Этот фактор – логика ожиданий, направленности, готовности и образа действий исламских боевиков, ставших ядром, мозговым центром и ударной силой восстания в Андижане. И эту логику нельзя не увидеть в самом характере восстания, в направленности действий восставших, в стиле политической провокации (пронизывающей, кстати говоря, всю историю терроризма, начиная с XIX века), для которой любой кровавый исход есть положительный результат. Этот почерк революционеров-террористов, давно и хорошо известный и в России, и в Европе, и в исламском мире, трудно не разглядеть в андижанских событиях.

Наконец, был и третий фактор – характер и логика действий официальных узбекских властей.

Во-первых, характер этих действий свидетельствует о том, что мощь и масштаб восстания, несмотря на его локальный характер, застал узбекские власти врасплох. Об этом же говорит и тот факт, что потребовалось немалое время для организации отпора восстанию и его подавления.

Во-вторых, достаточно очевидно, что движущей силой этих действий был страх. Причем страх не только перед исламистами, но и перед оппозицией вообще. Иначе трудно объяснить несоразмерность и неадекватность этих действий, результатом которых стали многочисленные, и, возможно, отчасти скрываемые жертвы

не только среди боевиков, но, главным образом, среди мирного населения.

В-третьих, что вытекает из предыдущего, вряд ли были просчитаны возможные последствия этих действий. Власть получила для себя положительный сиюминутный результат в плане преподнесения жестокого урока оппозиции. В более же долгосрочном плане она вполне может получить как усиление мобилизации боевиков, действующих в привычном и излюбленном для них поле «жертвенности» (шахидизма), так и радикализацию более умеренных фрагментов оппозиции.

Правда, следует отметить, что помимо страха как мотивации действий узбекской власти в Андижане, эти действия все же лежат и в общей логике ее курса в отношении политической оппозиции, и в этом смысле их нельзя не признать последовательными. Эта логика заключается в использовании реального фактора исламистской опасности в качестве предлога для подавления любой оппозиции и инакомыслия. Следуя ей, узбекская власть пытается «замарать» любую оппозицию, включая и либерально-демократическую, в связях с исламистами, чтобы под этим предлогом изолировать и репрессировать все оппозиционные силы.

Эта логика, возможно, и способствовала консолидации большинства населения вокруг правящего режима авторитарным путем в течение предыдущего десятилетия, но столь ли она действительна на сегодняшний день?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться прежде всего к историческим прецедентам противодействия исламистской оппозиции, в первую очередь в самом мусульманском мире.

Достаточно богатый опыт подобного рода накоплен в арабских странах, где были многочисленные примеры взаимоотношений власти с исламистской оппозицией как путем ее «умиротворения», так и путем подавления. К сожалению, все попытки интегрировать исламистов в существующие политические системы и превратить их в системную оппозицию до сих пор заканчивались крахом. Но в том, что касается жесткого подавления исламистской оппозиции, были отдельные результаты, приносившие для существующих режимов удовлетворительные плоды.

Среди таких «экспериментов» стоит особо выделить подавление покойным сирийским президентом Х.Асадом волнений «братьев-мусульман» в г. Хаме в начале 70-х годов. Это была жесточайшая, антигуманная акция, в ходе которой город был блокирован и почти полностью уничтожен огнем артиллерии, а его жители, если не поголовно, то в значительной своей части истреблены. Результат столь жестокого подавления был таков, что исламистская угроза как общенациональный фактор устранена и по сей день, а сыну и правящему наследнику тогдашнего президента Б.Асаду сегодня удается довольно успешно избегать опасности существующих сирийских исла-

мистов, направляющих свои действия куда угодно, но только не внутрь страны.

Однако следует отметить, что упомянутая жестокая акция удалась Х.Асаду не только в силу ее глубоко просчитанной организации и точному исполнению. Ей сопутствовала и даже во многом предшествовала широкая общественная изоляция исламистов и консолидация остальной части общества на иных, нерепрессивных основах. Большинство левых и левоцентристских сил, представители нацменьшинств были объединены в национально-патриотический фронт, возглавлявшийся правящей партией, руководителем которой (равно как и фронта) был сам президент. Другие же, оппозиционные части политического спектра были разрознены, разъединены и изолированы различными, в том числе и репрессивными, но относительно «мягкими» способами.

Известен также прецедент подавления исламистов в Тунисе в 1990–1991 гг., иной по характеру и конкретным деталям, но сходной по существу методике: жесткие меры по разгрому боевиков сопровождалась их разъединением и изоляцией при консолидации вокруг правящего режима остальной части общества. Эта методика, как и в сирийском случае, принесла власти успех.

На этом фоне вектор действий узбекского режима и их логика выглядят прямо противоположными: здесь, при жестком подавлении исламистов, в их сторону выталкивается, изолируется и подавляется и вся остальная оппозиция.

Эти действия еще можно было расценивать как относительно успешные после ташкентских взрывов, когда их можно было рассматривать как пусть не вполне адекватный, но все же мотивированный ответ на акцию террористов. Во всяком случае, факт относительной консолидации вокруг режима по их итогам можно было констатировать.

Иначе выглядит ситуация вокруг андижанского инцидента. Очевиден вектор и динамика ее развития. Действия оппозиции, в том числе боевиков выглядят более мотивированными, чем действия властей. В любом случае оппозиция продолжает утверждать себя на политическом поле в качестве перманентного фактора, способного противостоять власти и подрывать ее усилия по консолидации общества. Действия власти, напротив, способствуют консолидации оппозиции до такой степени, что как для массы простых граждан (в особенности в Ферганской долине, но не только там), так и для международной общественности исламисты и другие фрагменты оппозиции становятся трудно различаемы.

Тем самым мотивация действий оппозиции, включая исламистов, видится как оправданная со стороны растущей части населения и зарубежных общественных кругов, склонных, например, к апологии и настойчивым требованиям легализации такой организации как ИДУ, в которой присутствует несомненный исламистский компо-

мент, но которая пытается позиционировать себя в качестве умеренной и конструктивной оппозиции.

Результаты андижанских событий видятся следующим образом:

1. Во внутреннем плане очевидно, что оппозиция подавлена, но отнюдь не разгромлена, ее социальная база и точки прорастания и смычки с ней имеют тенденцию к нарастанию. Расширяется, в том числе усилиями правящего политического режима, и база ее консолидации. Причем, поскольку в узбекских условиях именно исламистские боевики имеют наиболее сильную мотивацию, реальную организационную структуру, серьезные исторические и социальные корни, их шансы окончательно превратиться в ядро расширяющейся оппозиции достаточно велики и продолжают увеличиваться.

2. Во внешнем плане обозначилась изоляция режима как в глобальном, так и в региональном аспекте. Мировые акторы, такие как США, НАТО, Евросоюз, значительная часть исламского мира не только резко негативно прореагировали на действия узбекских властей в андижанских событиях, но некоторые из них приняли конкретные меры, направленные на политическую изоляцию Узбекистана. Ликвидация, к примеру, американской базы в Узбекистане явилась лишь ответной реакцией на эти меры, что, впрочем, может способствовать дальнейшему усилению изоляции. Исключением является позиция России и Китая, однозначно поддержавших узбекский режим, однако эффективность этой позиции затруднена отсутствием общих границ, в то время как у США и НАТО имеются рычаги воздействия на Узбекистан через территорию Афганистана и других сопредельных стран.

В региональном аспекте изоляция Узбекистана также усиливается. Это видно по росту напряженности отношений по всему периметру границ. Традиционно непростые отношения с Таджикистаном, Туркменией и Казахстаном дополнены новым витком напряженности с Киргизией, которую узбекские власти попытались обвинить в прямой причастности к андижанским событиям, в том числе в подготовке боевиков. Бумерангом для Узбекистана начинает оборачиваться и его прежняя вовлеченность в афганские дела через посредство узбекского меньшинства в Афганистане.

Все эти факторы, взятые в совокупности, превращают Узбекистан в «больного человека» региона. Возможно, преждевременно говорить об «обреченности» узбекского режима, но опасность выхода ситуации из под контроля власти вовсе не выглядит фантастичной.

Опасность подобного развития состоит в том, что в случае нарастания описанной динамики, события здесь вряд ли повторят относительно мягкие сценарии «цветных революций», даже при условии, если они начнут развиваться по сходной с ними схеме (что, кстати, тоже маловероятно). Скорее они могут оказаться ближе к таджикскому варианту времен распада СССР. Во всяком случае, именно на

такую вероятность указывает вектор и рисунок консолидации узбекской оппозиции.

При подобном развитии ситуации, она действительно может оказаться чреватой взрывом, способным потрясти весь регион. По крайней мере, она почти неминуемо затронет Таджикистан и Киргизию.

В этом контексте особое значение для России и всех региональных сил, заинтересованных в сохранении политической стабильности в Центральной Азии, приобретает использование механизмов ОДКБ и ШОС для предотвращения «большого взрыва» и упреждающих мер по региональной политической стабилизации, а также усиление опоры на «оазисы стабильности». А таковыми в Центральной Азии являются лишь две страны – Казахстан и Туркмения.

Однако разница между этими двумя «оазисами» разительная.

Несмотря на то, что оба режима нередко описываются в публицистике, политической и политологической литературе как однотипно авторитарные, на деле они представляют собой полярные стороны современного авторитаризма. Проявляя себя в принципе в современных условиях в качестве транзитного типа политического устройства общества, авторитаризм обнаруживает в своем развитии и структурно-функциональных характеристиках две противоположных типологических модели.

Первая – тяготеющая к закрытости, автаркии, политической консолидации за счет преимущественно, а то и исключительно крайне жестких репрессивных мер. Такие режимы иногда характеризуют как авторитарно-тоталитарные. К их числу принадлежал режим Саддама Хусейна в Ираке, и достаточно очевидно, что именно к этому типу тяготеет режим Туркменбаши. Поэтому усилия внешних сил, будь то Россия или США, направленные на то, чтобы сделать ставку на подобные режимы, обречены на сомнительный эффект. Это происходит даже не потому, что подобный режим вообще не может быть стабильным партнером или союзником, а в силу того, что его автаркические устремления превалируют над любыми вариантами сотрудничества с внешними силами за исключением тех случаев, когда непосредственная угроза самому режиму настолько сильна, что не оставляет ему иного выхода. А поскольку, по представлениям туркменской власти, она способна удерживать внешний фактор на достаточном отдалении путем умелого манипулирования интересами России, США, Ирана и прочих государств, то и для России и ее региональных союзников в Центральной Азии туркменский фактор вряд ли выглядит как существенный в плане потенциальной стратегической опоры.

Для другой модели современного авторитаризма, напротив, характерна относительная открытость и вовлеченность в международное сотрудничество, поиски путей кооперации с региональными и международными силами, в том числе и в политической области.

Для нее характерно сочетание жестких и гибких методов управления, стремление постепенно создавать условия для последующего транзита политического устройства общества, причем преимущественно в направлении представительной демократии.

Именно такая модель характерна для сегодняшнего Казахстана, что практически объективно делает его главной и практически безальтернативной опорой и союзником в регионе, не говоря уже о том, что и многие другие факторы, такие как протяженная общая граница, общность истории и политической культуры, взаимное тяготение, в том числе абсолютно искреннее со стороны Казахстана, создают условия для дальнейшего развития и углубления такого союза.

Конфигурация политического курса России в регионе с преимущественной, если не доминирующей опорой на Казахстан вовсе не противоречит развитию отношений, как двухсторонних, так и коллективных, с другими региональными силами. Но именно этот союз имеет все основания стать стержнем и основой противодействия существующим и потенциальным угрозам, включая угрозу локальной и региональной дестабилизации с участием международного терроризма.